

ВЕТЕРАН

В воздухе пахнет размороженной и еще очень влажной землей. Талые потоки переполняют мостовую, с легкостью омывая тротуары от зимней грязи. Во дворах с веселым визгом носятся собаки, они натываются на людей и в притворном ужасе улепечиваются. И даже старушки с клюкой медленно и осторожно, филигранно, но гуляют под искрящимися лучами весеннего солнца.

— Ну, проходи, проходи, — тяжело дыша, произнес хозяин квартиры, пропуская нежданного гостя.

Молодой парень с явным любопытством оглядывал прихожую и пенсионера в большой полосатой пижаме. Он хотел что-то сказать, но смутился и промолчал.

— Постой, дай я на тебя посмотрю! — Они стояли друг напротив друга, — Ты изменился! Возмужал... Ну, иди. Иди, помой руки.

Не задерживаясь более, старик прошел в комнату, где поставил напротив дивана стул и отгородил креслом угол кровати.

— Садись. Я хочу тебя разглядеть. — Раздалось ворчание, грозное и недовольное. — Не обращай внимания, это моя старушка, не хочу, чтобы ты ей мешал.

За креслом, на мягких подушках на полу, возле кровати лежала старая такса, накрытая теплой тканью, еле дыша, она из последних сил защищала друга.

В комнате, заваленной в беспорядке вещами и бумагами, висели иконы и черно-белые фотографии зданий. Старые обои с углов свисали и только тюлевые занавески сверкали белизной.

Хозяин сидел прямо, опираясь двумя руками на трость. Было видно, что сиделось ему с трудом, но он сдерживал себя и внимательно, почти хмуро разглядывал гостя.

— Ты изменился. Ты теперь больше на мать похож...

— Я, — засмеялся парень, — я все тот же, это ты иным стал.

— Время, — соглашаясь, кивая головой, произнес старик, — все меняется.

Молодой парень заерзал и, не вытерпев взгляда, встал, потянувшись, так, что затрещали сведенные до упора лопатки; высо-

кий, улыбчивый он по привычке махал рукой, будто махи снимают заикание. Он подошел к окну, потом к шкафу:

— А это что? Хлеб? — парень взял банку с заплесневевшим кусочком, больше напоминавшим глиняный черепок от какого-то старинного сосуда или кусок земли, случайно и необъяснимо почему-то бережно засунутый в банку и хранимый со всеми предосторожностями; кусочек покатился по дну и стукнулся о стенку сосуда.

— Осторожней!

— Тот самый? — взгляд с удивлением переместился на старика, приподнявшегося в испуге за бесценную вещицу.

— Да.

— Выбросил бы давно. — Потеряв интерес к банке, рука юноши потянулась к гипсовой маске, лежащей здесь же на полке и скрытой от сторонних глаз календарем с изображением иконы Божьей Матери. Пальцы гладили маску, словно лицо любимой женщины. — Ввыбрось, дело прошлое.

Старик покачал головой: «В музей отдам».

— И будет у хлеба инвентарный номер. Маску тоже отдашь? — Парень задернул календарем, как занавеской, полку и перешел к фотографиям. — Когда-то мы оба были в нее влюблены...

За церковным календарем маска белая, кусок гипса, посмертное лицо. Помнишь, как ты читала стихи и как дрожал голос твой сначала от голода, а потом от гнева. Помнишь, как тысячи полумертвых фитильков тлели: едва доживали до твоего голоса. Но от звука, от мощи твоей, от стихов твоих разгорался огонь — в нас. И прожигали мы сердцами стену, воздвигнутую врагом. И душа наша радовалась. Ты давала нам жизнь. Мы верили в тебя, и любили тебя, всем сердцем...

Старик вспоминал те счастливые мгновения, когда он, тринадцатилетний паренек с братом-погодкой Аликом, слышал Ее по радио. Полгода спустя брата не станет, как не станет детского мира, любви и счастливых мгновений, будет только боль, ненависть и желание мстить. В 1943 году он припишет себе несколько

лет, окончит курсы разведчиков и уйдет на фронт.

Такса заворчала и попыталась встать. Старик нагнулся и помог. Он отодвинул кресло, и собака, поскуливая, медленно похромала в коридор, где облегчилась.

— Давай выпьем, помянем. — И старик чуть быстрее собаки и, шаркая чуть шумнее, побрел к шкафу, где стоял брат. Он отодвинул рукой еще один религиозный календарь и достал на две трети пустую бутылку сухого красного вина. Передав бутылку Алику, он вновь запустил руку в тайник и достал еще две бутылки с таким же количеством рубиновой жидкости в каждой.

«После инсульта мне не разрешают много пить».

Они переместились на кухню, оставляя мокрые следы в коридоре. Маленькая кухня позволяла, не вставая со стула, дотянуться до любого предмета. На столе было несколько чашек с водой. Старику нельзя было поднимать тяжести, его норма — двухсотграммовый стакан с напитком.

Братья пили и поминали.

Алик закусывал копченой колбасой с кусочком булки и радостно внимал рассказам брата о жизни.

Старик пил мало, он потягивал вторую стопку, предпочитая говорить, будто боялся тишины или случайного вопроса или взгляда, укора. В какой-то момент старик замолчал. Он заглотнул остатки вина и, поймав взгляд брата, сухо и тихо, почти не слышно, произнес: «Прости меня». Алик махнул рукой: «Забудь».

— Нет! Ты не понимаешь, я был уверен, что делаю правильно! Я же терпел. — Алик попытался было возразить. — Помолчи!

Старик оперся на палку всем весом, но не встал, а лишь опустил голову. Пауза затянулась.

— Я до сих пор слышу тебя. Я думал о тебе, — он поднял голову, — о тебе завтрашнем. И я ушел, чтобы не видеть тебя слабым. А ты — умер.

Алик с наслаждением перешел на черный хлеб с зефиром:

— Ммелочи, — махнув рукой, — забудь.

Алик умирал мучительно медленно. Накануне им «доставлось» полбуханки хлеба, сказочное чудо по тем временам. Брат

настаивал съесть хлеб тут же, на улице, но он разделил на дозы – на несколько дней. Брат умолял, просил... брат умер. А его вывезли.

Прошли годы. Все было в его долгой жизни: и горе, и боль, и смерть любимой, но та боль, когда ты мог спасти, на мгновение, но продлить жизнь и не сделал, не спас – не прошла. И, как бы он ни мстил фрицам – боль осталась, и хотя он загнал ее в самое темное место, свел к минимуму, она пульсировала в нем, вырываясь в самые не подходящие моменты жизни.

Старик перелил воду из стакана в электрочайник и включил. Он повторил процедуру дважды, чтобы выпить чай вместе с братом. Алик, от переполнявших его душу эмоций, больше молчал и много ел, а еще он слушал рассказ о той, в которую был влюблен, хотя, никогда, никогда ее не видел, но чей голос он не мог забыть. Голос, что был равен по силе съеденной лужице канцелярского клея, тогда, и горсточке хлебной крошки.

– Она была настоящим мужиком. Алик. Не бабой. А мужиком! Настоящим мужиком! Не ты и не я... и жизнь у нее была, не дай Бог, – старик покачал головой. – Зато пирожки с укропом – чудо! Мила пыталась повторить... не то.

Ты знаешь, я храню ее голос на пленке.

Алик заулыбался: «ты дашь мне ее послушать?»

Они перебрались в комнату, там под столом в картонной коробке лежали бабины с едва живыми магнитными лентами. Старик достал ее палкой, пододвинув к себе. И долго сидел, не решаясь открыть. А потом задвинул назад. Он повернулся к иконе и перекрестился.

– Мила, жена моя, умерла; та, улыбающаяся девушка рядом с Ольгой, – старик показал пальцем на групповую фотографию, – тоже строитель... оставила трех дочерей и сына... род продолжается... есть внуки и даже правнучка.

Старик поднялся и подошел к окну. Голос зазвучал глухо:

– Все выживают, как могут. Сын мне заявил: «На твою пенсию, отец, копченой колбасы не купишь...» Ну и не покупай! Жили же раньше: помидоры не весной ели, без копченостей

как-то обходились. И счастливыми были. А им — только жарчку купить!

Алик подошел к брату, положил руку на плечо, приобнял.

Вечернее солнце не скупилось на медь, с избытком покрывая крыши слитками, превращая многотысячные стеклопакеты в бесценные и неповторимые полотна.

— Красивый закат...

Старик молчал, потом буркнул: «пойдем, покажу тебе кое-что», повел Алика в коридор мимо кухни, вдоль спален в большую комнату на застекленный балкон.

— Смотри! — Он махнул рукой куда-то влево, где высились серые громады, закрывая собою пространство. — Там, за этими скелетами — Университет! А раньше, жемчужина архитектурной планировки! Ты видишь — им деньги нужны!

Мы тоже строили дома, сносили старое, расширяли проспекты, стирали кладбища, но мы жили мечтами о будущем, ты понимаешь, о будущем! И о красоте, мы стремились к красоте.

Когда-то здесь, на этом самом месте были сады. Мы с Милой познакомились, на строительстве вот этих самых Красных домов. Мы забирались на башенный кран, и пили там, на верхотуре, парное молоко, тогда еще здесь была деревня, и коровы ходили под нами и мычали. Мы мечтали о будущем и обещали дожить до коммунизма.

— Я всю жизнь строил. Москва, — старик закашлялся, — Я учил, как надо строить. А что ты видишь сейчас? Оглянись! Что ты видишь? Новые прекрасные дома? Нет. Ты видишь передел: старые хрущевки с надстроенными этажами. А вот та искрящаяся башня — новый бизнес-центр, вместо мною построенного секретного завода. Сучьи дети! — Старик закипел, — Я мог все это предотвратить! Представляешь?! Я жил с ним в одной гостинице. Я мог выбросить его из окна! Мог! Я мог предотвратить смуту. Не допустить пляски на древних камнях. И нужно было всего-то: вытолкнуть.

Дыхания не хватило. Старик дышал громко, со свистом, разминая рукой грудь. И уже тише, значительно тише и не так эмо-

ционально: «Он был постоянно пьян, и никто бы не заметил, как он свернул себе шею. И не было бы ни этих серых громадин, ни тысяч рекламных щитов, не было бы смуты, и сын гордился бы мною». Он поднял глаза на брата: «Стоит один грех спасения страны?»

Алик смолчал.

Белые переплеты балкона темнели сухой мошкаррой. Кулич, купленный заранее, стоял на окне, в ожидании Праздника. На полу рядом с крепким стулом лежали письма: пожелтевшие страницы, исписанные мелким убористым почерком. Старик, не выдержав, вновь отвернулся, устремив взор, на город.

— Иногда, хочется спуститься вниз, пройтись ногами по земле, посидеть на скамейке. После инсульта я не спускаюсь. Боюсь один...

Где-то далеко в квартире кашляла собака, дребезжал холодильник. Старик потянулся к щеколде и открыл окно: вечерний воздух обжог.

Где-то внизу ревела сигнализация...

СОКРОВИЩЕ

К этому месту он испытывал двоякое чувство. С одной стороны, он его ненавидел. Ненавидел жгучей ненавистью. Прекрасно помня, как воспитательница била его ремнем за мокрый матрас. Он помнил белый кафель и злую струю воды из шланга, когда его, такого маленького, испачканного, обмывали нянечки в наказание то горячей, то ледяной водой. И когда подрос, он с детской мстительностью бил стекла, поджигал, ломал, крушил.

Но в тоже время это был маленький островок заповедного, таинственного мира. Кусочек заброшенной территории, с обезображенным мертвым остовом здания, в безликом спальном районе.

Со временем детская ненависть переросла в странную привязанность к этому месту. Здесь он впервые поцеловался с рыжеволосой одноклассницей, Ленкой, первой своею любовью.

И сюда же он пришел двадцать лет назад: пил водку, поднимал стакан, чокался с Ним; благодарил. Такое тоже было.

И, именно здесь, в заповедном, проклятом месте, вопреки здравому смыслу он зарыл свое сокровище, словно ненависть — лучший оберег для самого дорогого, самого любимого.

Он и сам до конца не понимал, почему так поступил. Но увлеченный в то время «Островом сокровищ», выбирал местом игрищ заброшенный детский сад. За каждым деревом виделись ему пираты, а в каждом оконном проеме мерещились фашисты, а он, словно в насмешку, запрятал клад, у них под носом.

По-прошествии стольких лет он не смог бы с точностью указать место схрона. По крайней мере, двадцать лет назад, когда был здесь в последний раз — его не нашел. А сейчас почему-то вдруг вспомнил, что вот там, чуть правее, был угол с лесенкой, от которой и нужно отсчитать те самые семнадцать шагов. И небо, словно приветствуя его, указало на Полярную звезду, ту самую.

Когда-то в школе на уроках труда они учились делать железные ящики для инструментов. Но прежде к восьмому марта им было поручено смастерить из жести совок, для мамы, на длинной ручке. Он справился достаточно успешно, и ему, в числе еще нескольких учеников, поручили сделать для класса труда, для школы, для трудовика — ящички. Он трудился долго, дольше других — оставался после уроков, но в результате получился не столько ящик, сколько сундук. Маленький сундучок с выпуклой крышкой слишком тяжелый для переноса инструментов, непригодный для школы.

Он унес поделку домой, подальше от смешков, подростковых издевок, хотя ему самому, сундучок нравился, особенно заклепки — что-то старинное было в них. С увлечением, с какой-то безудержной страстью он принялся украшать сундук различными рисунками, аппликациями: черепами, парусниками. И даже алый пионерский галстук с обгрызленным кончиком, испачканный чернилами, превратил в пиратский флаг.

И вот теперь он стоял в том самом месте, непостижимым

образом ощущая мамину оплеуху на щеке — за галстук, за упрямство, и там где должен был выситься цветущий каштан, выдающееся по его тогдашним меркам растение, — валялась береза: обычное поваленное дерево с вырванными корнями. В той яме, где были ее корни, он и стал рыть.

Любопытный прохожий вряд ли обратил бы внимание на копошившуюся в земле фигуру, уж очень она походила на обычного алкаша, в темноте потерявшего шкалик. Но Вадим был трезв, быть может, чуть не в себе. Он стоял в испачканном землей костюме и держал в руках тяжелый, безумно тяжелый и грязный, ржавый металлический ящик.

Уже не было на нем ни украшений, ни наклеек, ни аппликаций — ничего — все сгнило. Ржавый сундук с замком. Без дна.

Вадим не сохранил в памяти, что именно припрятал, но отчетливо помнил: было это в момент его взросления — он выбрал профессию футболиста. До этого он хотел быть кем-то другим, но кем? Забыл.

В тот год он увлекся футболом по-настоящему. Да и кто тогда в футбол не играл? Все играли: и взрослые, и дети, и даже за поле с настоящими воротами дрались по-настоящему, отбивая у взрослых право играть. На каждой перемене они гоняли банку, играли в неприспособленных дворах, на улице, рисовали на стенах ворота или мешками для обуви помечали створы ворот. От удали, со всей силы били по мячу и разбегались во все стороны от звона разбитого стекла на каком-нибудь четвертом этаже или в азарте сталкивались лбами, попадали по ногам, сорились и потом мирились. В общем, это была сказка.

Он даже с первой женой умудрился познакомиться у бровки поля. В то время Вадима уже считали талантливым, перспективным футболистом, но все пошло не так. Он тогда еще думал: как легко отделался.

Позже он ушел в радиотехникум, потом стал менеджером — не жаловался. Нет, он особо не сожалел о футболе, как-то легко смирился, споткнулся и не упал, после всех этих химий, как-то по-новому он стал смотреть на мир. Быть может, поэтому Вадим

почти не менял мест работы, по крайней мере, значительно реже, чем жен. Да и жен он особо не менял: не он уходил, а они. И каждый раз он удивлялся их уходу, не понимая причины.

Гражданские браки Вадим не признавал, словно боялся чего-то. Но свадьбы обставлял так, будто в последний раз. Маленькое шоу. И никогда не повторялся.

На работе Вадима ценили. В карьерном отношении он был более чем успешен, особенно в последние годы, но жена — опять ушла.

И вот он здесь, на территории стройки пенсионного фонда, в бывшем когда-то детском саду, сидит в яме на корточках и руками выгребает со дна свои сокровища — паровозик, вагончики и пластмассового индейца с цветным пером.

Голубой локомотив — подарок, но чей? Возможно — отца. Но был ли он? Был, наверное. Почему-то в памяти осталась фуражка с околышем. Но, в доме не принято было обсуждать: был он или не был. Мама, все мама. Краска сошла с паровозика, но пальцы безошибочно опознали продолговатую с «рожками» модель без переднего стекла. Когда-то, еще в раннем детстве, он пытался засунуть своего индейца в модель. Выдавил стекло и с тех пор локомотив его безстекольный. Индеец тогда тоже пострадал и был заменен более удобным, более мелким оловянным бойцом-знаменосцем. Знаменосец не пережил тридцатилетней разлуки, превратился в прах. А его коричневый, но более стойкий пластмассовый собрат, инвалид-индеец с цветным пером, лишь слегка облупился.

Вадим держал в руках обугленные временем игрушки и пытался воскресить то свое трепетное состояние, понять, почему именно их решил закопать. Может быть, он хотел их сохранить? Но для кого? Для него они сейчас были... мусором? Чего-то не хватало, какого-то маленького нюанса, чтобы все всплыло, вспыхнуло, взорвалось в его сознании. Ничего этого не было. Он был абсолютно глух к своим чувствам, опустошен, придавлен.

Он сидел и смотрел на проплывающий в облаках лоскут луны. И почти как волк, хотел бы завывать от бестолковости,

от безысходности, от невозможности добиться у памяти нечто ценного для себя. Но ничего не происходило, все оставалось как есть. В соседней пятиэтажке выходили люди на балкон: курили, разговаривали, смеялись, хлопали дверью; смеялись; смеялись; бросали окурки — и эти звездочки падали у его ног, приносимые ветром. Звездочки пепла. И ничего больше.

Его уже перестал терзать уход жены. Он почти впал в транс. Стали слышаться какие-то странные голоса: «отца на тебя нет», топот ног. В голове всплыл Стокгольм и последняя прогулка там с Ленкой, он-таки женился на Ленке. «Ты слышишь, — говорила она, — по крышам ходят дети. Я слышу топот их ножек. Мальчик и девочка. Мальчик в резиновых сапогах, а девочка босая, в джинсах и свитере. В таком же свитере из грубой шерсти, как у меня в детстве, помнишь? Они ходят по крыше, и девочка громко стучит, огрубевшими пятками».

В это время подул ветер, и кровля соседнего дома завибрировала, застучала, словно кто-то сознательно стучал по железу.

— Это они пугают домашних... такс.

И действительно, в соседнем доме вдруг тьякнула собака, почти что пискнула от страха. Он даже себе представил, как та собака подобно его Рыжику зарылась в постель, и уши прижала лапами. Он тогда рассмеялся. Она же посмотрела на него и ничего не сказала. Он смутился — что такого сделал?

Как-то не везло ему с женами. Все они считали его активным, жизнерадостным. И он стремился соответствовать: заставлял себя вставать рано, делал зарядку, бегал по школьному стадиону.

Он принимал холодный душ, приносил горячий кофе в постель, переодевался в костюм. Костюмы ему шли, он давно это заметил и на работу ходил только в костюме; не признавал никаких свитеров. И только на даче мог выскочить в халате во двор к своей «ласточке». На даче он расслаблялся, но в городе — костюм и галстук.

Счастье испытывал Вадим на новогодних корпоративах, когда перевоплощался в Деда Мороза, когда дарил, шутил, танцевал — был; и конечно, влюблял в себя. Такие минуты сравнимы

с забитым голом, с победой в игре.

Но уход Лены стал для него слишком уж болезненным. Где-то в глубине себя он догадывался о причине ее ухода, но признать за ней правоту...

Как раз накануне, практически уже позавчера, они получили ключи от квартиры. От собственного, долгожданного дома. Три года они скитались. Квартиру купили еще на стадии котлована, не очень близко к центру, в новом районе, но у каждого было по машине. Жене он подарил «Ford» еще на свадьбу, у самого была старенькая «Subaru», что не особо его смущало, вполне подходящая машина для поездок за город.

В эйфории они любили друг друга на сером бетонном полу, с запахом из далекого детства, где они впервые признались в любви.

Последние сутки они были оба уставшими. Он – радостно-уставший, она – задумчиво-уставшей. Весь оставшийся день жена убирала, стирала, мыла, готовила, а после ужина ушла в комнату.

Она вышла из комнаты практически сразу, с чемоданом и сумкой, он стоял в коридоре, подпирая стенку, держал в руке остывающий чай. Он почувствовал тревогу сразу после их любви, что-то в ее глазах было... какое-то прощание. Но отмел сомнения, поверив ей на слово, про усталость от перевозбуждения, что и сам испытывал, прыгая как мальчишка, от радости, от столь долгожданного своего, личного угла.

Лена поцеловала Рыжика в нос, она всегда удивлялась натуральной коже его носа, немного помедлила и растворилась.

Вадим не помнил, как оказался у пенсионного сада. Он ушел из пустого дома сразу после ухода жены. Он даже не помнил, закрыл ли он дверь, и где его любимый Рыжик, и когда он успел переодеться в костюм. Он был потерян и одинок.

Он сидел на поваленном дереве, мелкий морозящий дождь мочил лицо. Он сидел и бессознательно водил поездом по березе, и в предрассветной дымке тихо раздавались звуки: жиыж, жиыж, жиыж, жиыж, жиыж, жиыж...